

к 150-летию со дня рождения Н. Г. Чернышевского

«Содетствовать славе не преходящей, а вечной своего отечества и благу человечества — что может быть выше и возжеленнее этого?» — слова эти принадлежат Николаю Гавриловичу Чернышевскому, великому революционеру-демократу, великому ученому, философу и писателю, публицисту и критику, человеку светлых идеалов.

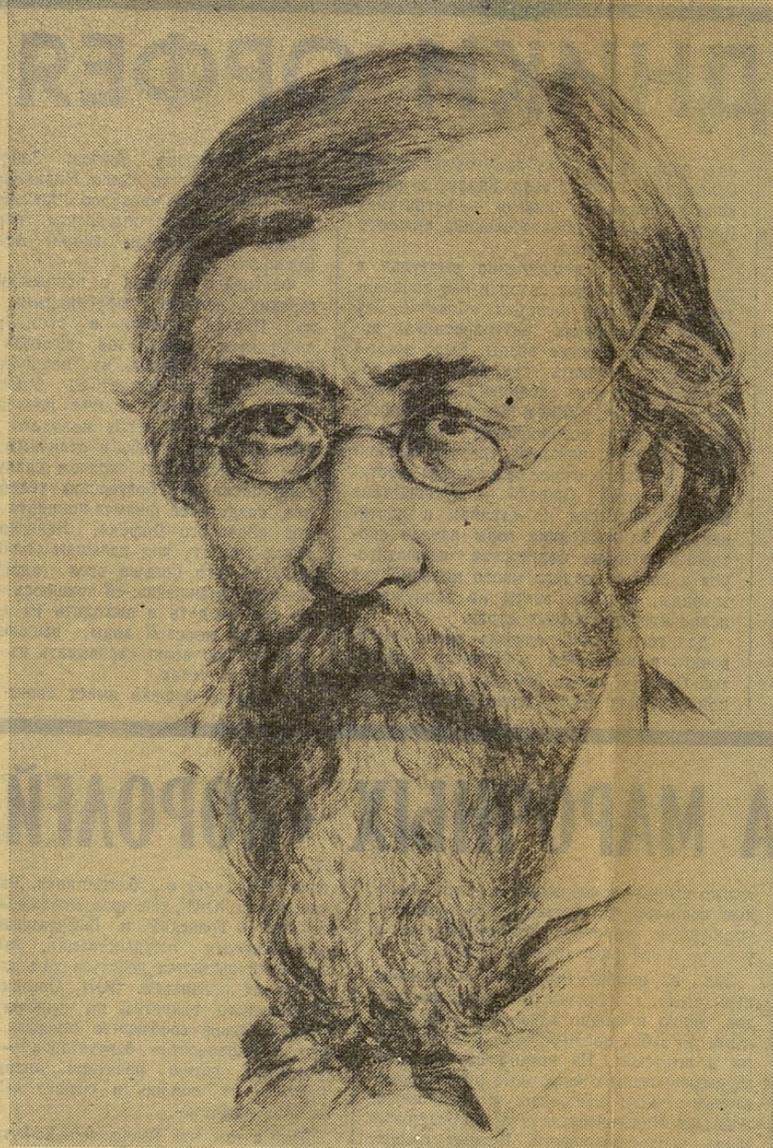
Он был истинным сыном своей Родины, и потому 150-летию со дня его рождения страна отмечает с такой торжественностью и любовью.

За годы Советской власти произведений

Н. Г. Чернышевского издавались 227 раз общим тиражом 12.378 тысяч экземпляров на 24 языках народов СССР и зарубежных стран.

Наследие великого революционера-демократа заняло большое место в жизни нашего общества, его труды и ныне не утрачили своего большого идейно-эстетического значения, по-прежнему сохраняют свою актуальность и гражданственный пафос.

Чернышевский был целой эпохой в русской истории, и жизнь его в истории продолжается.



ПЕРЕД ДОЛГОЙ РАЗЛУКОЙ

Предлагаемая вниманию читателей публикация — основанный на документах рассказ о последнем вечере четы Чернышевских в Петербурге перед долгой разлукой.

Предчувствуя близость ареста, Николай Гаврилович Чернышевский решил отправить семью в родной город — Саратов. 3 июля 1862 года Ольга Сократовна с сыновьями Александром и Михаилом покинули Петербург. 7 июля 1862 года произошел арест Чернышевского.

Мальчики уже спали. Ольга Сократовна и Николай Гаврилович сидели друг против друга у распахнутого окна. Шла к концу последняя белая ночь Петербурга — ночь второго июля. День был для Ольги Сократовны очень хлопотливым — завтра она с детьми уезжает в Саратов.

Николай Гаврилович откинулся на спинку стула и ласково глядел на жену... Вот так же, молча, сидели они у окна и девять лет назад. То было в Саратове, на Армянской улице, в доме Васильевых — родителей Ольги Сократовны. Окно было расписано затейливыми февральскими узорами.

Нет, вначале они сидели на стареньком, в колдобинах и овражках, диванчике, около которого приютился низенький круглый столик. На нем стояла глазурованная и пестро расписанная фаянсовая чаша, наполненная ломбардскими орехами, которые еще называют фундуком.

Оленька выгребала из чаши по несколько штук фундука, ловко раскалывала орешки своими крепкими зубками. Она предложила орехов ему. Он было отказался, шутил:

— Ну как я стану грызть? У меня и зубов-то нет!

— Тогда я буду грызть для вас. — проговорила она весело.

Оленька клала ему в рот ядрышки, а он каждый раз целовал у нее руку. Они играли в вопросы и ответы. Вдруг, озорно улыбувшись, она написала карандашом: «О. С. Чернышевская».

Ольга была удивительная девушка. Знакомые поддразнивали ее гусаром в юбке, кошечкой, которая больно царапалась, — у нее острый, беспощадный язык. И сколько остроумия!

Прочитав записку, Николай Гаврилович грустно улыбнулся:

— Вы все шутите, а мне не до шуток. Он поднялся и в волнении прошелся по неуютной комнате, а затем опустился на стул у окна. Ольга продолжала грызть орешки. Через минуту-другую тоже уселась у окна. Как сегодня — против него. Они некоторое время молчали. Оба понимали, что приближается минута, от которой зависит все их будущее.

Николай Гаврилович собирался в Петербург и решил перед отъездом сказать о своей любви — одной на всю жизнь. Поэтому он... молчал. Но все-таки отчаялся и наконец сказал трудные слова признания.

Оленька просила оставить ей что-нибудь на память. Подумав немного, он извлек из жилетного кармана ключ от ящика стола и отдал Оленьке. Она тут же надела его на стальное колечко, на котором повязывало множество всяких ключиков. Порозовевшая, взволнованная, Оленька выпорхнула в соседнюю комнату и, тотчас же возвратившись, протянула Николаю Гавриловичу совсем маленький ключик.

— Я беру ключ от вашего сердца, вот вам ключ от моего...

Он ответил ей, как всегда, потупясь:

— Я не требую непременно вполне один владеть им. Я прошу только, чтобы в нем было место для памяти о том, что я искренне привязан и предан вам, что я люблю вас.

А в мае того же года они стояли у открытого окна вагона поезда, везшего их из Москвы в Петербург, — муж и жена. Вдруг порывом ветра у Николая Гавриловича сорвало фуражку. Ольга Сократовна тогда страшно всполошилась:

— Это плохой знак, Николая, — сказала

она, — неужели у тебя там голову снесут?

Он рассмеялся и ответил, что в чемодане у него другая голова припасена — плюшевая...

И вот пролегло с той поры девять лет. Николай Гаврилович подумал о том, что, может быть, эти годы — главный итог его жизни.

У Оленьки — он знает это! — горько на душе. Неясная тревога за него, за семью. Ее томят недоброе предчувствия. Впечатлительная и умная, она догадывается, что надвигается беда.

А он — он просто знает, что дни его свободы сочтены. Может быть, утром за ним пожалуют и препроводят...

Оленька не ведала, что вчера в квартире Чернышевских бывал адъютант генерал-губернатора Петербурга Суворова — внука великого полководца. Он приходил как доверенное лицо князя и от имени его светлости рекомендовал Чернышевскому незамедлительно бежать за пределы России. Губернатор обещал заграничный паспорт и даже полицейский эскорт до границы...

Поговаривали, что губернатор, человек либеральный, относился к литератору Чернышевскому с известной симпатией. Может быть, он из жалости предупреждал о грядущей опасности? Допустим. Но следует ли оставлять поле боя? Как исполняет его бегство III отделение? Не объявят ли Чернышевского главным виновником страшных майских пожаров? Не обрушатся ли после этого на «братию Чернышевского»?

Он поблагодарил за внимание, прибавив, что не видит причин покинуть Россию. Может быть, отвергнув предложение князя, он совершил непоправимую ошибку? Нет, он не отступит от своего решения — вести бой до конца, лицом к лицу с врагом.

Ольга Сократовна тоже думала о прожитых в Петербурге годах, думала по-своему.

Никто, кроме Николая, пожалуй, не знает, насколько сложна была ее жизнь. Ведь даже близкие люди думают, что супруга Чернышевского — беззаботное су-

щество, любительница музыки, танцев, пикников, веселых компаний — и только...

В этой гостиной за просторным столом собирались гости. Студенты — грузины с бородами а-ля Гарибальди. Милый, прекрасный Сераковский, добрый доктор Бокков, острый на язык Антонович... Играли на рояле, скрипке, виолончели. Шутили, смеялись.

Бывало, препоручив гостей сестре Миночке, она выбежала на улицу и, заглядывая в ярко освещенные окна своей квартиры, беззаботно улыбаясь, говорила прохаживая:

— У Чернышевских веселятся!

И никто не знал, что озорство было маской тревоги. Пока в гостиной пели песни, музицировали, в тесном кабинете у Николая сидели то Некрасов и Добролюбов, то Сераковский, то Утин или Слепцов, Серно-Соловьевич. Она знала, что там происходят разговоры, от которых пахнет революцией и каторгой, что там читаются прокламации, обсуждаются грозные планы.

И она с тревогой в душе, но улыбаясь, выпархивала из парадного, со страхом осматривала улицу: нет ли кого-нибудь из тех.

Нет, все-таки, если бы вернуться в прошлое, отодвинуть время на девять лет, она сделала бы тот же выбор и пошла бы той же дорогой — с Николаем. Он всегда был так добр и нежен. Трудна его жизнь, но с ним легко. В душе ее живет какое-то большое и прекрасное чувство. Сознать себя причастной к великому делу, к будущему.

Иногда Николая незаметно оставлял гостей и укрывался в передней. Стоя за пристроенной в углу конторкой, он писал — быстро-быстро.

Ольга Сократовна улыбается, вспоминая недавнее. Она вышла в переднюю и увидела мужа возле конторки. Рядом, спрятав руки под передником, стояла кухарка Лукерья. Николая спрашивал ее:

— Скажите, пожалуйста, Лукерья Ивановна, почему нынче воз дров брали на рынке?

Лукерья, пожав плечами, отвечает: — Мало нынче было подвезено дров, и приступу к ним нет: ломают по два рубля за воз... пропустили прошлую среду — покупали по рублю за воз, а я говорю тогда, берите, такого большого подвоза не будет после.

— Спасибо, Лукерья Ивановна, — ответил Николай Гаврилович, — а воз сена за сколько продавали?

Лукерья оживилась: — Уж сколько нынче навезли сена, просто ужас, ну и покупали дешево — три копейки за пять рублей.

— Спасибо, Лукерья Ивановна, — улыбулся Николая, — мне все это очень важно было разузнать.

Явно удивленная характером «интервью», Лукерья удалась. Ольга Сократовна подошла к мужу, прижалась порывисто к его плечу, погладила по мягким белокурым волосам с рыжиковой и шепнула в самое ухо: — Канашечка.

Он улыбулся, счастливым ее нежностью. Потом оказалось, беседа с Лукерьей понадобилась Николаю для статьи «Бездежье».

Николай очень добрый. И душа у него огромная, голубая. Как его глаза. На вечерах вот в этой гостиной он иногда воодушевившись, преодолевая свою удивительную застенчивость, читал стихи. Любит Рылеева. Читал стоя, скрестив руки, потупившись.

Порой на глазах у него навертывались слезы, и ей хотелось подбежать к нему, выцеловать эти чистые слезинки.

Улица безлюдна. Где-то на углу покашливает сторож. Николай Гаврилович, прикрыв глаза, продолжает размышлять о прожитых в Петербурге годах. Они были трудными для Оленьки. Эта прекрасная женщина стоит лучшей участи.

Он скучный и трудный муж. А она такая веселенькая, жизнь бьет в ней ключом.

Он не научился жить разумно. Он, пожалуй, эгоист. Да-да, эгоист!

Летом Оленька с детьми уезжала в Павловск. Он так редко навещал их. Ей могло показаться, что он недостаточно любит ее!

Чудесны были многие дни в Павловске! Если он уж приезжал, она тормошила его, не давала сидеть на месте. И прекрасно поступала.

Они бродили по лучшему в России парку, раскинувшемуся на 600 гектарах. Прогуливались по липовым аллеям, любовались лужайками и живописными древесными купажи, стояли подолгу перед Большим дворцом. А то катались на лодке по Славянке. Оленька надевала мужской костюм — он так идет ей, — садилась на весла. И как ловко гребла!

А в Петербурге, дома, ей было трудно и тревожно, особенно с последней осени, когда началась эта мерзкая слежка. Оленька знала, что за ними следят, за всей их жизнью, что подкуплены швейцар, кухарка, таскавшая за чем-то черновики, рассыльный из типографии.

В последнее время Оленька, услышав звонок в передней, вздрагивала и сама бросалась открывать дверь. Если у него сидел кто-нибудь в кабинете, она стояла у второго от парадного окна и во все глаза глядела, не подходит ли к двери какой-нибудь полицейский или жандармский чин.

А сколько страху набралась она, когда недалекий Алексей Студенский стал читать кучеру и его гостям прокламацию, привезенную из Лондона, от Герцена!

Нет, думалось Николаю Гавриловичу, ей не стоило выходить замуж за такого человека. Он не сделал ее счастливой.

А ведь дальше будет хуже...

Ольге Сократовне было тяжело. Завтра она с детьми уедет в Саратов. Николая останется на некоторое время один. Как он будет жить, такой беспомощный в делах житейских... Изведется. Спит два-три часа в сутки, пишет, пишет по ночам. Пообедавать не соберется. И будет тосковать. «Современник» приостановлен на целых восемь месяцев. Без журнала ему тяжело, непривычно. Хотя бы скорее кончал дела и приезжал в Саратов...

Так, молча, вспоминая прошлое и думая с тревогой о будущем, они просидели около часа. Это были минуты прощания перед разлукой. Кто знает, может быть, расставание надолго?

Надо бы сказать Оленьке хоть несколько слов. Подготовить ее к тому, что, очевидно, неизбежно.

Подавшись вперед и прикоснувшись к руке жены, Николай Гаврилович начал было:

— Перед нашей свадьбой, Лялечка, я говорил тебе, что со мной может всякое случиться...

И тут произошло нечто неожиданное для Николая Гавриловича. Ольга Сократовна вскочила, зажала ему рот своей энергичной рукой и плачущим голосом, иступленно зашептала:

— Не смей! Молчи! Я слышала раз — довольно! Не смей!

И она бросилась опрометью из комнаты.

Николай Гаврилович, ошеломленный, застыл на месте. «Нехорошо все вышло, — корил он себя, — не так я, да, видно, не вовремя».

Он затворил окно, постоял около него минуту-другую и отправился в кабинет.

После приостановки «Современника» жизнь кабинета стала иной... На стульях, оттоманке, столе теперь нет графов. Не прибегает рассыльный из типографии. Исчезло то великолепное напряжение, которое стало для Николая Гавриловича необходимостью, физической и духовной. Какое это было наслаждение — готовить книжку журнала, которую через неделю будут читать тысячи. Читать и думать, думать и волноваться, спорить, мечтать, улыбаться и сжимать кулаки.

И вот всего этого нет. Будет ли когда-нибудь?

Но — к делу! Николай Гаврилович сел к столу, выдвинул ящик. Бумаги. Надо тщательно просмотреть их. Не дать в руки жандармов никаких улик, даже косвенных. Он выкладывал рукописи, письма и, низко склонившись над столом, погружался в чтение. И тут на пороге комнаты показалась Ольга Сократовна. Она подошла к мужу сзади, положила руки на его плечи. Он пытался подняться, но она придержала его.

— Прости меня, Николая. Только прошу тебя, милый: никогда, слышишь, никогда больше не говори о том, что было сказано однажды и на всю жизнь.

— Это ты меня прости, голубушка, — Николай Гаврилович гладил ее руки, — я поступил глупо и очень виноват перед тобой.

Она уселась в кресло сбоку стола. Ольга Сократовна сразу поняла, зачем извлечены из ящика бумаги.

— Это ты хорошо придумал, — одобрила она, — на всякий случай лучше уничтожить все опасное.

Более двух часов они сидели за столом. Николай Гаврилович откладывал особо бумаги, которые надо было уничтожить, а Ольга Сократовна рвала их и бросала клочки в камин.

И затем, когда все было кончено, она поднесла бумагам горящую спичку.

Оба они глядели на пламя — спасительное и губительное. Было грустно, как на похоронах.

— Пора спать, Николая, — сказала Ольга Сократовна усталым голосом, — спокойной ночи.

Она поцеловала мужа в голову, а он расцеловал ее руки:

— Спокойной ночи, Лялечка, друг мой бесценный!

Матвей ЧЕРЕПАХОВ.
Рисунок Э. Ярова.

